**Юлий ХАЛФИН**

**Чехов и Достоевский**

|  |  |
| --- | --- |
| *У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было Бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретёт великий человеческий ум.* | *Он хочет и ищет Бога, ищет день и ночь и находит одну только пропасть, в которую чем дольше смотришь, тем кажется она глубже и темнее.* |
| Чехов | Чехов |

Много лет мне казалась невозможной подобная параллель. Я говорил ученикам о чеховской ориентации на Тургенева, на лермонтовскую «Тамань». О его пушкинской гармоничности и краткости. Но Достоевский с его взрыхлённой поэтикой, буйными скандалами...

Известно, что Чехов не любил Достоевского. Достоевский перенасыщен всем тем, что Чехову в литературе претило: герои то в лихорадке, то в помрачении рассудка. Привычные характеристики состояния: “задрожал”, “был в исступлении”, “ноги подкашивались”, “взрыв негодования”, “страшно побледнела”, “смеялась в истерике: хахаха!”. Даже сумасшедшие у Чехова ведут себя более сдержанно.

Где чеховский герой отделается пустяковой репликой, герой Достоевского бросится в пламенный спор. В кабаке или на площади он то падает на колени, то восстаёт на Бога. Чехов же уверяет, что люди обычно “приходят, уходят, обедают… говорят не очень умные вещи”. Достоевские “надрывы” — диссонанс для чеховского слуха. Даже самые необразованные герои Достоевского говорят удивительно умные речи. Его романы менее всего соответствуют чеховской установке, что литература должна изображать жизнь “как она есть”.

Мой односторонний взгляд разрушила ученица одиннадцатого класса Лена Сапожникова. Она предложила для сочинения тему «Чехов и Достоевский». Я объяснил, что сравнивать можно *противоположных* (что мы делали раньше: «Толстой и Достоевский»), но нельзя разных. Напомнил мысль Чехова о том, что невозможно писать, например, на тему «Тургенев и тигры».

Ученица ответила, что помнит эту установку и возьмёт лишь сопоставимое: Злого Духа из «Легенды о Великом инквизиторе» и Чёрного монаха из чеховской повести.

Я новыми глазами перечитал «Чёрного монаха». Ассоциации с Достоевским рождались на каждом шагу.

“Ты призрак, галлюцинация”, — говорит Коврин Монаху. Иван Карамазов пытается то же самое доказать чёрту: “Ты болезнь моя, ты призрак... Ты моя галлюцинация”. Оба, и монах и чёрт, внушают героям **их собственные заветные мысли.** Да и сам монах, с христианской точки зрения, несомненно, воплощение дьявольской гордыни. Характерная черта её — помрачение ума. Иван Карамазов, как и Коврин, всё время на грани безумия. В безумии восстаёт на Бога Раскольников. Свидригайлов же поясняет, что болезнь вовсе не говорит о неистинности видений. Она лишь форма, с помощью которой человек преодолевает границы косного бытия. “Друг мой, — внушает Чёрный монах, — здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди… Хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо”.

Тут вспоминается и право избранных повелевать жалким человеческим стадом, которое берёт на себя Великий инквизитор. Тут и теория Раскольникова, решившего встать в ряды Магометов и Наполеонов, — “счастливы Будда и Магомет или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения”, — говорит Коврин.

Избраннику, по теории Раскольникова, разрешено поставить пушку и палить в правых и виноватых. Стоит ли говорить об одной поганой старушонке. Правда, потом он скажет, что на убийство его “чёрт тащил”. И Иван Карамазов уверен, что чёрт — воплощение **худшей**его стороны (“все скверные мои мысли”). Коврин же вполне солидарен с Чёрным монахом. Он счастлив, что сопричастен сонму избранных.

Но это разница между героями. Иван и Раскольников мучимы сочувствием к людям. Коврина устраивает его собственное величие, тем более что его бес уверяет, будто он принадлежит к божьим избранникам, которые, как убеждён и Инквизитор, поведут человечество за собой. Дьявольский же соблазн одинаков: представить зло как добро. Сближает художников и ирония по отношению к самозванцам. Следователь Порфирий насмешливо спрашивает Раскольникова, по каким бы приметам юристам отличать избранников от обычных преступников. Завести “клейма там, что ли какие?” Да и сам Раскольников, истязая себе иронией, пытается вообразить, как Наполеон лезет под кровать за старушкиной укладкой.

Однако ирония чеховских слов о том, что “доброжелательные люди” не сумели излечить Магометов и Шекспиров от вдохновения, направлена не только против лжепророков. Она явно направлена и против толпы, которая, по слову Пушкина, всегда убеждена, что великий человек “подл, как мы”, и всеми силами старается погубить гения, не прощая ему его непохожести.

Тоска по тому, что где-то в ином пространстве существуют Фаусты, Данты, Шекспиры, а “вокруг от Ивановых содрогается земля”, — основной мотив чеховского творчества. Писатель горестно говорил, что его герой — Иван Иванович Иванов: “Ивановых тысячи”.

Из рассказа в рассказ у Чехова варьируется одна и та же картина: “Город коснел в невежестве и в предрассудках, старики только ходили в баню, чиновники играли в карты и трескали водку, дамы сплетничали, молодёжь жила без идеалов, девицы деньденьской мечтали о замужестве и ели гречневую крупу, мужья били своих жён и по улицам бродили свиньи” («История одного торгового предприятия»). “Город наш существует уже сотни лет, и за всё время он не дал родине **ни одного полезного человека**— ни одного!” («Моя жизнь»).

Вот ещё две похожие характеристики. “Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днём и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками…”[1](http://lit.1september.ru/2008/06/10.htm%22%20%5Cl%20%221a)

“На лестнице у меня воняет жареным гусем, у лакея сонная рожа, в кухне грязь и смрад, а под кроватью и за шкафами пыль, паутина… и бумаги, от которых пахнет кошками”.

Первое высказывание совпадает с речью Пети Трофимова, но это слова Чехова из горьковских воспоминаний. Второе принадлежит герою чеховского фельетона «В Москве». Герой говорит о себе: “Я — московский Гамлет”. Цитатами из «Гамлета» пронизана пьеса «Чайка». Героиня «Трёх сестёр» проходит со свечой во время пожара, вызывая воспоминание о леди Макбет. Но московский Гамлет — злая пародия: глупый цыплёнок, полагающий, что раз у него есть крылья, то он подобен орлу. А провинциальная леди выбивает сестёр из их родного дома не окровавленным кинжалом, а миленьким младенчиком — “Бобиком”.

С горестной иронией Чехов говорил, что у Шекспира Ричард — злодей, но **“король злодеев”**. Его же злодеи и незлодеи — безлики. Их легион.

В противоположность этому, герой Достоевского не “вошь дрожащая”. Он обладает сознанием и самосознанием. Автор дарит герою полноценный голос, чтобы он мог утвердить себя среди любых иных мыслителей. У писателя нет **“маленького человека”**, потому что каждому Господь даровал бессмертную душу. Иван Карамазов может соперничать и с Эвклидом, и с Шиллером. Мышкин — отнюдь не крохотная мышка рядом с именитыми и знаменитыми. Это Князь-Христос (так он назывался в черновиках). Достоевский делится с Майковым замыслом романа, в котором он хочет поселить в монастыре Чаадаева и Тихона Задонского, к которым приедут Пушкин и Белинский (разумеется, имена у них будут другие). В «Петербургских сновидениях» он пишет, что проезжает мимо извозчик, а это Шекспир. Под личиной кузнеца видится ему Рафаэль. Он встречает Цицерона, которому отрезали язык, и Коперника, которому выкололи глаза.

Пьяненький Мармеладов произносит в кабаке речь, которой бы не постыдился великий христианский проповедник. Выросшая на дне, ничему не учившаяся, робкая Сонечка не только на равных спорит с Бонапартом-Раскольниковым, юристом, мыслителем, но и опрокидывает его доводы. Герои Достоевского осознают себя, и Бога над собой, и своё место в мире.

Такой образ творчества Чехову чужд. У него, скорее, даже большие герои оказываются маленькими (например, герой «Скучной истории» — член многих академий). Чеховские герои уверены, что благородные рыцари, отважные Донкихоты существуют лишь в книгах. В жизни есть жалованье, дрязги, низость и всякая нечистота.

Поразительным откровением дарит нас Вера Иосифовна («Ионыч»). На вопрос, печатает ли она романы, она отвечает: “Для чего печатать? Ведь мы имеем средства”. Мы-то полагали, что пушкинский Пророк сгорает духовной жаждой, чтобы пробиться к людским сердцам, что Достоевский корчится в эпилепсии при виде человеческих страданий. А оказывается, всё так просто. Сама же героиня пишет о том, чего никогда не бывает.

Если же в чеховском мире нечто живое и хочет пробиться сквозь коросту, мир его отторгает. Когда Гуров («Дама с собачкой») пытается говорить о любви, ему отвечают об “осетрине с душком”. Потому что тухлая рыба — это бывает. А любовь Ромео и Джульетты — это выдумка для театра.

Зато в ряде чеховских рассказов навязчиво выпирает символическая деталь: в доме, в трактире подают суп, в котором плавают тараканы (подобные детали не редкость). Какие тут Шиллеры!

При всей разнице двух писателей, отметим, что оба они мерой человеческого духа избирают Гёте, Шекспира, Пушкина. Достоевский даже сам выходил на сцену, чтобы читать «Пророка». Его Митька Карамазов и в подземных норах пропоёт небу шиллеровский гимн.

Чеховский же герой, силясь доказать нужность Пушкина, непременно процитирует Лермонтова. Другой герой, уверяя, что “похож на Лермонтова”, цитирует Крылова.

Картины русского быта у Достоевского страшнее чеховских. Что сетовать по поводу тараканов в похлёбке, когда у его героев часто нет никакой похлёбки. Чёрные-перечёрные избы, бабы, почерневшие от чёрной беды, семейство Снегирёва, измождённое голодом и болезнями («Братья Карамазовы»). Может показаться, что тут Достоевский ближе Некрасову, Толстому, бунтующим против равнодушия богатых к бедствующему большинству.

Но герои Достоевского и на самом дне жизни **жалуются не на бедность**. Они не “несчастные”, они “униженные и оскорблённые”. Их томит духовная жажда. Нет “воздуха”, по словам Мармеладова. Сходит с ума от унижений гордая Катерина Ивановна («Преступление и наказание»). В ярости топчет пачку денег затравленный оскорблениями штабс­капитан Снегирёв («Братья Карамазовы»).

Зато сквозь лики героев Достоевского проступает бессмертная душа. В своих романах он возвращает язык “Цицеронам”, дарит ясновиденье подслеповатым стряпчим. У падшей Сонечки Мармеладовой лицо Сикстинской Мадонны. В комнатах-гробах ютятся Фаусты и Шиллеры.

Мука Чехова рождена тем, что никаких Шиллеров вокруг нет. (Его мир больше похож на гоголевский, где Шиллер оказывается жестянщиком, а Гофман — сапожником.) И всё же герой рассказа «Студент» верит, что раз вдова Василиса плачет над евангельским рассказом и ей близок апостол Пётр, то, значит, сегодня, как и в святые времена, жизнь**полна “высокого смысла”**. Подобный мотив у Чехова возникает в поздних произведениях.

У Достоевского это лейтмотив всего творчества. Во вступлении к «Дневнику писателя» Достоевский излагает своё кредо.

Начиная в духе словесной буффонады о современных Хлестаковых, которые врут без оглядки, о пошлом юнце, который застрелился, потому что не имел денег, чтобы нанять любовницу (чем не Чехов?), Достоевский вдруг резко меняет тон. Силясь понять, чем порождено это “полное свинство”, он недоумевает, неужели для этих дико неразвитых существ вовсе не существует гамлетовского вопроса: “Но страх, что будет там”… Неужели это безмыслие в русской природе?

С пронзительной ясностью неожиданно открывается, что страшна не бедность, не всеобщий эгоизм, не чёрная неправда в судах, а что плоский обезбоженный человек неспособен вместить в себя ни величия звёздных миров, ни высот шекспировской мысли. Вспоминая гётевского Вертера, который, решив уйти из мира, прощается с Большой Медведицей, автор язвительно говорит: “У нас разбивают этот данный человеку лик совершенно просто и без всяких этих немецких фокусов, а с Медведицами не только с Большой, но и с Малойто никто не вздумает попрощаться”. Последнюю ироническую строчку вполне можно представить себе среди чеховских реплик.

Его лучшие герои жаждут вырваться в мир, где “небо в алмазах”, а вся земля покрыта цветущими вишнёвыми садами. Однако путь в этот мир им чаще либо неведом, либо у них нет сил, чтобы устремиться к поиску.

У Достоевского это путь веры. Его знают старец Зосима, Макар Иванович («Подросток»), Сонечка Мармеладова.

Фантастический реализм Достоевского творит мир ярких контрастов. Дьявол борется с Богом. Поле битвы — сердце человека. Тёмное и светлое начало иногда обитают в разных героях. За святым князем Мышкиным следует с ножом Рогожин. Яростный Митька Карамазов беседует с кротким Алёшей.

Чаще же “про” и “контра” сшибаются в одном герое. Раскольников то весь в порыве любви и самопожертвования, то замышляет убийство. Неблагородная, коварная Грушенька на суде старается спасти Митю, готова принести себя в жертву. Благородная Екатерина Ивановна предаёт его.

Хотя у Чехова есть и столкновения, и убийства, и грозовые пейзажи, но чаще чувства и картины природы он рисует в мягких полутонах. В его рассказах добро и зло нередко смешаны в едином растворе.

Характерно, что Чехов советовал Горькому, писавшему «Мещан», чтобы тот никого ни с кем не сталкивал: все хорошие.

Критика тщетно искала, чей же Чехов сторонник. Она несправедливо, как указывали наши чеховеды, изображала писателя певцом хмурых людей и автором, лишённым определённого мировоззрения. Однако многие рассказы писателя могут дать основание для подобных выводов.

В целом ряде рассказов и в пьесах автор изображает человека, не знающего, зачем жить. Ионыч жиреет и тупеет, опускаясь ниже обывателя, которого он презирал. Выдающийся учёный из «Скучной истории» не находит смысла ни в своей науке, ни в обучении студентов. Бьются с тьмой народные учителя, вроде героини рассказа «На подводе», но мужик не понимает интеллигента. На учителей клевещут, как клевещут на врача с женой, желающих послужить людям, на толстовца, ушедшего в народ.

Героя рассказа «Огни» мучит совесть из-за того, что он соблазнил женщину. Студент из того же рассказа уверяет, что **“никто ничего не понимает и ничего нельзя доказать словами”**. Всё знающие, всех поучающие демократы у Чехова обычно самодовольные Кукшины, вроде мужеподобной Полины из повести «Три года». Но художник из «Дома с мезонином», презирающий хождение в народ, сам **не делает ничего**. Героя повести «Моя жизнь» называют “Маленькая польза”. Девушка, увлечённая поначалу его трудовым подвигом в деревне, вскоре бросает его и живёт за границей нормальной жизнью.

Скучное серое небо нередко простирается над чеховскими людьми. Но если и нет такой пейзажной картины, часто кажется, что незримый серый полог покрывает всё пространство повествования. В других рассказах в этом небе есть просвет. Иногда он расширяет своё поле. Есть рассказы, где свет заполняет всё. Таковы «Студент», «Рассказ старшего садовника».

В «Даме с собачкой» свет ширится, в конце даже кажется, что вот­вот он заполонит всё пространство — и человек обретёт себя и всё вокруг.

Пытаясь понять, есть ли всётаки у Чехова положительный ориентир, я обратил внимание, что в одни и те же годы написаны «Остров Сахалин» и заметки о Пржевальском. “Таких людей, как Пржевальский, я люблю бесконечно”, — говорит Чехов в письме. Каких?

Ответ в финале очерка. “Читая его биографию,**никто не спросит: зачем? почему? какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав”.**

Значит, идеал писателя не дядя Ваня, не его светлые сёстры, а цельный человек, у которого мысль, поступок, польза для людей являют неразделимое единство.

Да и сам он, направляясь в непомерно трудное для больного туберкулёзом путешествие (он полагал, что уже не вернётся), желал до конца следовать своему идеалу. В самом себе Чехов явил это единство. Книга о Сахалине взволновала многих. Дворянская девушка Евгения Мейер решила посвятить каторжанам свою жизнь. После чтения Чехова ей чудился вопль: “Идите к нам, спасите нас!” Критика сопоставляла «Остров Сахалин» с «Мёртвым домом» Достоевского.

Поэт­мистик Даниил Андреев утверждает, что Чехов, живи он дольше, явил бы нам небывалое сочетание в одном человеке Святого старца и великого художника. О Достоевском афонский старец Иустин пишет, что он — мученик, пророк, апостол, философ и поэт. Такое суждение нам принять легче. Вся его жизнь и творчество — желание подвигнуть людей и самому приблизиться к благородному идеалу Христа. Правда, характер писателя был неровен.

Характер Чехова, напротив, поражает цельностью. Гармонируют “и лицо, и одежда, и душа, и мысли”. Но творчество?..

Христова вера звучит во всех романах Достоевского, как зов надмирной трубы. Чехов свою веру таит. Он иронически отзывался о своих рассказах. О сахалинском подвиге говорил, что ехал “за пустяками”. Никогда не рассказывал о врачебной и материальной помощи нуждающимся. (Одному из сахалинцев Чехов подарил корову, и тот писал, что всю жизнь молит Бога за своего благодетеля.)

Чехов всегда утверждал, что он лишь художник, что не его дело назидать. Но порой он вдруг проговаривается, что за спиной каждого благоустроенного человека должен стоять человек с молоточком и напоминать стуком, что есть несчастные.

Чехов печалился, что в детские годы принуждение оттолкнуло его от веры. Но такие его рассказы, как «Архиерей», «Студент», говорят о красоте веры, о её сердечной необходимости и, к слову, о красоте церковной службы. Чехова огорчали упреки в индифферентности, пессимизме. “Какой я пессимист? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент»”.

Герой рассказа убеждён, что “правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника”, длятся и сегодня и всегда составляют**“главное в человеческой жизни”.**

Как истинного поэта, голос вечности влечёт Чехова “с неодолимостью нездешней”. Печальные луга, закат напоминают герою времена Рюрика и Ивана Грозного. Просторы в повести «Степь» вызывают в памяти образы древних богатырей. Такие ассоциации у Чехова нередки. Картины сегодняшнего дня и особенно пейзажи обретают черты вечные. (Так каторжанину Раскольникову степь за рекой напоминает “века Авраама и стад его”.)

Чехов дарит такое виденье не только незаурядным героям. Лунная ночь на кладбище будит в Ионыче способность ощутить “присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную”. Надпись “Грядёт час в онь же…” напоминает о великой вере.

Не так ли у Достоевского этот же волшебный луч “загадку загадывает” и рождает у Раскольникова странную мысль: “Это от месяца такая тишина”.

У Чехова в рассказе «Огни» ночная тишина преображает привычный мир. Какаято “важная тайна была зарыта под насыпью, и о ней знали только огни, ночь и проволока”.

Ни месяц, ни проволока не могут источать тайну. Её творит таинственная власть поэзии.

Авторы обнаруживают сходство, потому что Достоевский тоже прежде всего — поэт, и его книги не исчерпываются теми великими проблемами, которые мы изучаем. “Несказанное”, — говорит о заветном Есенин. Как не существует логического эквивалента поэтической строке, так необъяснима тайна, которую знают огни и ночь, невыразима тайна лунного луча, который завораживает Раскольникова.

В повести «Кроткая» поэтическая картина раздвигает рамки повествования, превращая тоску героя в явление планетарное: “Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля!.. Стучит маятник бесчувственно, противно… Ботиночки её стоят у кроватки, точно ждут её…”

Одиночество извозчика, потерявшего сына, Чехов передаст через рассказ о лошадке и слова о том, что “лопни грудь Ионы и вылейся из неё тоска, так она бы, кажется, весь свет залила”. Чеховская тоска таится, но могла бы залить весь свет. В рассказе «Кроткая» она его залила.

Эти две картины — два образа поэтики. Один художник разворачивает картину страданий до космических размеров. Другой поражает нас тем, что та же безмерная боль “сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что её не увидишь днём с огнём”. Авторы противоположны, но сопоставимы.

Страдания детей поднимают Ивана Карамазова на вселенский бунт против Бога. Звучат философские монологи, разворачивается множество иллюстраций. Чехов же в рассказе «Гриша» покажет, как ребёнку, потрясённому жизненными впечатлениями, мама решает дать ложку касторки. Монологи Ивана Карамазова спрятались в скорлупку. Ушли в подтекст. Чеховские паузы и умолчания — это и есть скрытые монологи Достоевского.

Фирс в «Вишнёвом саде» говорит, что сова кричала перед несчастьем.

— Перед каким несчастьем?

— Перед волей.

Тут бы Достоевский написал о психологии народа, о непостижимой трагедии того, что тот самый крепостной мужик, ради свободы которого боролись лучшие люди, считает освобождение несчастьем. У Чехова же стоит ремарка: “Пауза”. В паузе, по Чехову, подобные монологи должны рождаться в сознании того, кто читает, слышит.

Оба автора одинаково стоят с молоточками и хотят достучаться до совести читателя.

В чём писатели, несомненно, похожи — это в трагикомическом взгляде на жизнь. (Такое виденье совершенно несвойственно, например, Лермонтову, Толстому или Бунину.) Превратим на минуту «Преступление и наказание» и чеховскую «Тоску» в немой фильм. Мы обнаружим комические сюжеты. В романе великий гуманист, страдающий за всех обиженных, берётся за топор и крушит головы старушонкам. А злодей Свидригайлов всем старается помочь и суёт каждому свои деньги. Падшая женщина — “ангел с огненным пером”. В рассказе Чехова человек тычется ко всем, желая выговориться, и в итоге беседует с бессловесной лошадью.

Конечно, смешно, что Ванька из одноимённого рассказа говорит: “Стала ейной харей меня в морду тыкать”, а рассказ трагический.

Есть у Достоевского в «Дневнике писателя» рассказ «Столетняя». Улыбчивая старушка, часто отдыхая, идёт проведать внучат. Приходит… улыбается и вдруг умирает. Никто не плачет, все умиляются. Умиляется и повествователь. О чём рассказ? Так вот… жизнь.

А Чехов предложил Щепкиной-Куперник сюжет для водевиля. Двое пережидают дождь в пустой риге, смеются, в любви объясняются. Дождь прошёл, а он вдруг умер. Писательница изумилась: какой уж тут водевиль? Чехов возразил: “А зато жизненно”[2](http://lit.1september.ru/2008/06/10.htm%22%20%5Cl%20%222a).

В этих повествованиях столь разные художники оказались удивительно похожи.

И всё же для Достоевского “жизненное”, “прекрасное” всегда должно быть соотносимо со Христом. Только он есть “истина и жизнь”.

Чехов, всегда избегавший притчевой направленности, в девяностые годы, наряду со «Студентом», написал явную притчу — «Рассказ старшего садовника». В рассказе судья и целый город принимают решение оправдать человека, на котором сошлись все подозрения в убийстве. Убит святой человек, которого все любили и который любил всех. Люди не могут поверить, что у когото могла бы подняться на него рука. И Бог за такую веру в человека простил грехи всем жителям городка.

“Веровать в Бога нетрудно, — говорит Садовник. — В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте! **Эта вера доступна только тем немногим, кто понимает и чувствует Христа.”**Чехов, мыслитель и художник, неожиданно смыкается с таким непохожим на него Достоевским.

**Примечания**

[1](http://lit.1september.ru/2008/06/10.htm%22%20%5Cl%20%221) *Горький М.*А.П. Чехов // Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 396.

[2](http://lit.1september.ru/2008/06/10.htm%22%20%5Cl%20%222)*Щепкина-Куперник* Т.Л. О Чехове // Чехов в воспоминаниях современников. М., 1952. С. 280.